

Виталий Оплачко

## Румейские хроники

### I

Я родился в городке Паластра (Pallestra). Там, где Дикое поле обрывается рыжими скалами над Меотидой, морем, столь изобильным рыбой, что древние называли его «божьим садком», где в светлые воды великой реки Кальмиус вливается горький Кальчик. К моменту моего появления на свет над ковыльными степями Приазовья пронесли века и почти не оставили следа великих народов: киммерийцев, скифов, готов, торков и аланов. Чуть больше повезло хитроумным эллинам и вероломным генуэзцам. К 1780 городок стал именоваться Мариуполем – уездным центром греческого округа. Империи требовалось заселять новые земли, которыми она прирастала с каждой войной, большой или малой. Поэтому переселение греков-христиан из Крымского ханства в пустынные необжитые районы решало две задачи: колонизация и освоение северного побережья Азовского моря – и подрыв экономики Крыма, вассала и союзника Сиятельной Порты. Все это было частью мечты императрицы Екатерины II – создание Великой Новогреции на островах и континентальных землях неверных – Османской империи.

Не скажу, что обо всем этом я ведал с раннего детства. Город наш был окружен греческими деревнями и хуторами, чьи названия ласкали слух жителей памятью о крымской прародине: Ялта, Урзуф, Старый Крым. Вместе с белгороной (сладчайшей янтарно-желтой черешней), яйцами, брынзой, айряном и сюзьмой на городские рынки проникал говор урумов из сел, говорящих

на тюркском крымско-татарском диалекте, и румеев – понтийских греков Анатолии и эллинских общин Крыма. Сами они вряд ли подозревали, что их самоназвание восходит ко Второму Риму – Византии.

Языковая среда в городе состояла из гремучей смеси греческих диалектов, русского и украинского языков. Но чем живет простой народ? Заработать и поесть! Лучше поесть вкусно. Румеи, урумы и наши, украинцы и русские, за век совместного проживания усвоившие кулинарную культуру греков, создали в Мариуполе моего детства гастрономическую Мекку! Чирчир! Вы знаете, что такое чирчир? Это не ваши столовские чебуреки, где сырого теста больше, чем мяса. Лучший чирчир в городе готовила моя тетя Вася. Это забавное имя приклеилось к маленькой гречанке Василисе, которую моя бабушка подобрала на улице во время голода двадцать первого года. Она так и жила с нами, пока не вышла замуж за своего, грека Лагонского. И на чирчир мы приходили к ней в дом. На керогазе кипел в чугунном казане бараний жир, тетя Вася раскатывала до прозрачности тесто, наполняла лепешечки остропахнущим бараньим фаршем и бросала их в казанок. Есть надо было немедленно, глотая горячий сок, мясо и вздувшуюся хрустящую оболочку. И запивать арьяном! Мой личный рекорд – семнадцать штук! Не удивляйтесь, взрослые ели и побольше.

Вот я назвал вам слово «сюзьма». А кто-нибудь спросил, что это? Если арьян налить в полотняный мешок, отцедить, придавливая, жидкость, а затем из полученной массы налепить небольших катышков и выставить на несколько дней просыхать, то что вы получите в результате? Вы получите чудо! Мариупольская вода горьковато-соленая, пить ее могут только местные. Но шарик сюзьмы в литровой банке превращает кальмиусскую воду в волшебный напиток с резковато-кислым вкусом, который так хорошо освежает жаркими июльскими вечерами. Но есть же еще и буза! Какая там газировка! Какое там ситро! Буза, любимый напиток нашего детства. В бутылку кипяченной воды засыпается просо, прежде замоченное и подбродившее, затыкается хорошей пробкой и ставится в погреб.

Через несколько дней бутылки выносятся на террасу, под радостные вопли детей вылетают пробки (где там вашему шампанскому!) – пенный газированный напиток, напиток-мечта, наполняет стаканы.

## II

...Ранняя осень, еще тепло, но почему-то мой отец в серой толстой шинели с малиновыми кубиками на отворотах. В руках у него желтый фанерный чемодан. Он уезжает на фронт. Я иду провожать его «на калитку». Мне совсем не страшно – он такой сильный, и у него еще бело-синий значок парашютиста с подвеской за двадцать семь прыжков.

Мамы нет, она уехала в свой госпиталь собираться. Папа отказался брать котлеты, которые бабушка жарит на дорогу. Так что прощаемся мы вдвоем: военврач со свежим дипломом из мединститута города Сталино и его сын. Больше они никогда не встретятся...

...Бомбят почему-то ночью. Что они там видят? «Это на Фонтале, наши бомбят», – говорит бабушка и гасит коптилку на столе. Очень сильный грохот, где-то совсем рядом. Бабушка кидается к моей постели и застывает, прикрывая меня собой. Улетели.

Утром весь двор выбегает на улицу. Снизу от пивзавода строем по трое поднимается конница. Лошади рыжие, на кавалеристах кубанки, с трехцветных флагов свисают красивые желто-черные ленты. Впереди на мотоциклетке два немца. Кубанская дивизия.

...Уходят куда-то дядя Арон с тетей Фридой, в руках у них небольшие узелки. Дядя Арон работает на макаронной фабрике. Это она так просто называется, но там и конфеты делают, которые он иногда приносит нам, детям. Он очень высокий и всегда грустный. Или это потому, что у него глаза такие, большие черные? «Куда они уходят?» – спрашиваю я бабушку. «Ивреев забивают», – вместо нее отвечает Мишкина мама. Через много дней мы узнаем куда. Мариупольских евреев расстреляли у противотанкового рва на агробазе.

Дед с бабушкой собирают вещи – мы перебираемся из своей пристройки в комнату тети Фриды и дяди Арона. На мой молчаливый вопрос бабушка говорит: «Раньше, до революции, этот весь дом наш был. Вернутся – мы им как раз все и отдадим». Я узнаю новые слова: вот этот здоровенный шкаф называется «шифонэр», а эта штукавина с полками – «этажерка». Бабушка расставляет на ней книги, которые перед отъездом нам принес Поляков, врач из маминого госпиталя. Книжки с портретами вождей на синих обложках бабушка взяла на растопку, а дедушка на самокрутки. Но остались тоже интересные. Я показываю деду на картинке какое-то чудовище, и он по слогам читает, шевеля бледными губами: «Ле-ви-а-фан».

...В нашем дворе квартирует немецкая полевая кухня. После солдатского обеда всем детям раздают что-то розовое на плоских алюминиевых тарелках. Запах такой приятный, что все едят, не ожидая, когда оно остынет. Вкус этого пудинга остался со мной на всю жизнь.

Вилли, ефрейтор, живет в нашей комнате. По вечерам, выпив, он показывает деду, как надо поступить с Гитлером и Сталиным: сталкивает перед дединым носом два здоровенных кулака – хрясь! Дед смеется, потягивая самокрутку, но бабушке это не нравится. Она боится.

Бедный Вилли! Он оставил свой ручной пулемет в углу комнаты и ненадолго ушел. Как назло, появились полевые жандармы с бляхами на груди и в касках. Пока ждали нашего ефрейтора, съели оладьи, которые пекла бабушка. Дождались и увели Вилли насовсем.

У соседки поселились другие солдаты: форма похожая, но не немцы. Говорят вроде по-нашему. Но ничего не понятно. «Это словаки», – объясняет мне мой друг Мишка. Они не такие добрые, каким был наш Вилли. У них есть патефон, и на террасе бывают танцы с девушками из соседних дворов. Им словаки нравятся.

...Среди книжек есть академическое издание 1937 года «Сочинения А.С. Пушкина». Меня завораживают рисунки на полях этой книжки – женщины в каких-то странных шляпах, профиль мужчины с длинным носом. Это «лукавый» из молитвы, которой меня

обучает моя не очень религиозная бабушка. Вообще, все малопонятные слова находятся в зрительных образах. Слово «изячный», которое бабушка произносит по поводу какой-то знакомой, это полотняный мешочек с ячневой крупой на верхней полке. Козьма Крючков, дедушкин любимый персонаж, – это длинный зеленой краски крюк на мясной лавке. Для каких-то слов ассоциаций не находится, и это вызывает некоторую настороженность. Что такое, например, «ридикуль»?

Бабушка говорит: «У людей совсем плохо с едой стало». Дед принес с базара ведро коровьей крови. Бабушка засыпала туда пшено, положила лавровый лист и перец, вылила все это на лист, запекла в духовке. Готовый «пирог» разрешила на куски. Я позвал Мансура и его брата с сорок второго номера, прибежали пацаны с соседних дворов. Чуть не вся Торговая сбежалась...

...Конец августа. Жара. Город вымер. Уходят немцы. Всех трудоспособных сгоняют к зданию «полка». Здесь нас разлучают с дедом, он – нетрудоспособный, останется в доме инвалидов. Я реву и не отпускаю дедину руку, немец в каске отпихивает меня. Нас с бабушкой в огромной толпе гонят на вокзал. По крышам и чердакам лазят немцы с топорами, выискивают спрятавшихся. Очень дымно. Люди говорят, что немцы подожгли Слободку. На вокзале залазим в товарные вагоны. Очень тесно и жарко. Бабушка находит место, стелет на пол одеяльце и укладывает меня. Люди прибывают. Чей-то здоровенный ботинок наступает на меня. Бабушка отпихивает мужчину. Поезд трогается. Уехали недалеко, под Сартаной налетают наши самолеты, начинают бомбить. Всех выгоняют из вагонов, немцы-охранники куда-то деваются, и мы с бабушкой, пользуясь темнотой и сумятицей, уходим. Она заставляет меня хромать, получается плохо. Но это и неважно – на улицах ни души. В квартиру мы не заходим, сразу в погреб. Здесь мы сидим целый день и следующую ночь. Между бочками из-под соленых огурцов и капусты бабушка устраивает мне постель. У меня начинается кашель, она зажимает мне рот рукой, дает воды из бутылки. Я захлебываюсь и продолжаю кашлять. Утром выбираемся. Вокруг мертвая тишина и прохлада. Заходим в комна-

ту, все вроде цело. Через окно, распахнутое настезь взрывной волной, ветер приносит запах гари. Город продолжает гореть...

...Уже несколько дней в городе наши. Впервые за несколько месяцев идем с бабушкой по Большой к скверу. Там густая толпа. Я вижу, на фонарных столбах висят длинные люди с табличками на груди. Одна в сиреновом пальто мне кажется знакомой. Да ведь это Зоя-переводчица! Я видел ее во дворе у тети Таши на Карла Либкнехта, она танцевала под патефон с немецким офицером с серебряным кантом на погонах. Очень красивым офицером. Рядом вслух кто-то читает табличку: «За сотрудничество с фашистами». Бабушка оттягивает меня в сторону, мы уходим.

...Идем с бабушкой на вокзал, просто так, посмотреть на людей и на пассажирский поезд.

«Может, кого встретим», – говорит бабушка. Я знаю, что она надеется увидеть своего сына, моего дядю Валью. Его год назад забрали на работу в Германию. «С сорок второго номера уже вернулись братья Литвиненко, может, и наш придет», – шепчет тихонько моя бедная бабушка. Покупаем перронные билеты, но на входе нас останавливает патруль. Проверка документов. Бабушка достает из «ридикюля» свой советский паспорт и мою «справку» с фашистским знаком на круглой печати. В справке написано, что моя бабушка – это мама, а дед – папа. Справку «устроил» Валька Шварценберг, папин приятель. Его, немца по национальности, приняли на работу в городскую управу.

Нас ведут в железнодорожную комендатуру, бабушку заводят в комнату, меня оставляют в коридоре. Рядом на скамейке инвалид на костылях, плачет пьяная баба. Через полчаса нас отпускают, но без этой фашистской справки. Теперь моя бабушка – бабушка!

...Май. Во дворе среди камней от старой конюшни распустились желтые одуванчики. Из открытого у Пантелеевны окна во двор доносится голос Левитана: «В ознаменование нашей победы над Германией сегодня, 9 мая, в день Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной армии, кораблям и частям Военно-

Морского флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!». «Павшим в боях» – это про моего папу. «Вечная слава» – это значит, я его никогда больше не увижу? Слезы текут потоком, мне ужасно жалко себя. Мы регулярно после освобождения Мариуполя получали от мамы письма и переводы. А от отца никогда, ничего, ни строчки.

...Мы с бабушкой на базаре у мясного корпуса, где подрабатывает дедушка. Мне покупают стакан айрына с замечательной коричневой корочкой и плоский горячий пирожок с картошкой. К нам подбегает соседка тетя Нюра с криком «Надя приехала!». Бежим по Торговой, по растресканным тротуарным плиткам. Я не жду задохнувшуюся бабушку и влетаю во двор. И вот она – моя мамочка, в военной защитной юбке и голубой «бобочке». Моя мама вернулась! Но оказывается, только в отпуск, на неделю.

Бабушка накрывает на стол, а мама развязывает носовой платок и протягивает мне побелевшие шоколадные дольки. Некурящим вместо махорки давали дольку шоколада в день. Три года она собирала этот шоколад.

Мой отец не вернулся с войны, как и его братья. Моя бедная любимая мама после фронтовых и эвакогоспиталей несколько лет страдала ночными кошмарами – раненые, умершие, и все время кровь, кровь...

На фотографиях отцу двадцать шесть, маме двадцать.казалось, впереди долгая, долгая жизнь.

### III

Как только устанавливалась погода, двор начинал готовиться. Из общего погреба, из сараев выкатывалась тара под названием кадушки. Пропаривались крутым кипятком, высушивались на солнце, кое-где поправлялись сползшие обручи. В первой половине двадцатого столетия после 1917 городской люд Мариуполя жил точно так, как их сельские сограждане. Не надеясь, не веря и не полагаясь на государство.

В магазинах покупалось только то, что было невозможно произвести в своем хозяйстве. Другими словами, товары мобилизационного спроса – соль и спички. Даже сахар выпаривали из бекмеса – густого арбузного сока. Поэтому за два-три летних месяца непрерывного труда женщины старались обеспечить свои семьи припасами на всю долгую зиму. Никаких крышек, никаких закруток и в помине не было. Все делалось так или почти так, как и век назад.

С огурцами было все просто. Этот овощ не требовал коллективного труда. И моя бабушка относилась к нему почти небрежно: экая невидаль, соленый огурец! Поэтому огромная кадка, в которую я заглянуть по своему росту не мог, спускалась по доскам в погреб. Если кто-нибудь из соседей и «перепутает», не беда – это ж просто огурцы. Другое дело помидоры. Конечно, наша память сохраняет из детских впечатлений самое яркое, расцветивая его ностальгией по невозвратному. Но таких соленых помидоров, как у моей бабушки, я больше в жизни не ел. Не знаю, какой сорт она выбирала. До самой весны помидор сохранял свою идеальную форму, тонкая кожура легко прокусывалась зубами, и рот наполнялся несравненным винным вкусом. Кадушка с помидорами ставилась на цеглу в неотопляемом «калидоре» в нашей квартире.

Капусту резали на двух больших столах в несколько рук – приходили родичи и знакомые. Вокруг крутилось все детское население в ожидании кочерыжек. Огромная куча капустных кочанов быстро превращалась в горы полуфабриката, туда же отправлялась струганая морковь. Не знаю, как теперь, но прежде в наших краях клюква не водилась. Да и зачем она была? Каждые двадцать-тридцать сантиметров капусты перекладывались слоем небольших крепких яблок. А зимой – проснуться, выскочить с голыми ногами в коридор, разрыть холодную капусту и достать из глубины хрустящее «живое» яблоко!

Не знаю, как там сравнивают уровень жизни по стоимости биг-мака, но в Украине главный показатель – стоимость борщевого набора. И в отличие от русских щей, у нас обязательный ингредиент – что? Конечно, помидоры летом и томатный морс зимой. Никакой томатной пасты, только морс! Его



приготовление можно вполне отнести к работе в горячем цеху. Потому что кроме кипящей выварки с помидорным соком рядом стоял старый казан с булькающей смолой. Литровые бутылки темного стекла заполняли кипящим морсом, затыкали настоящими пробками и ловким движением стеклотруду опускали с проворотом в кипящую смолу. Консервация закончена!

Варенье у нас варили почти из всех доступных фруктов. Однажды даже из такой экзотики, как райка. Ничего хорошего, на мой вкус. Моим любимым было повидло из слив. Оно же послужило косвенной причиной моей склонности к путешествиям. Однажды я вертелся около бабушки, когда она помешивала в медном тазу душистую массу, и, видно, сильно ей мешал. Получил по лбу большой деревянной ложкой. Такая обида требовала достойного ответа... и я ушел из дому. Навсегда. Вышел из калитки и отправился в незнакомую для меня местность – на Слободку. До темноты бродил по узким улочкам среди палисадников с чайными розами, вдоль оград с паутелью. Пахло ночной красавицей, где-то, пощелкивая, звучал патефон – «Счастье мое я нашел в нашей встрече с тобой...». Ну да, он нашел, а мне что делать? Вернулся я совсем затемно. Встреча блудного внука была организована не по библейским канонам: сначала бельевой веревкой по заднице, а телец... не, тельца не было.

Учитывая нежный характер моих читателей, я все откладываю рассказ про колбасы, ветчину и сальтисон. Потому что они потребуют таких подробностей, что... нет, лучше в следующий раз, когда мы познакомимся поближе. А сегодня еще несколько слов про мариупольский говор. Это не про диалекты новогреческого. Это про наш язык, на котором говорили мы и наши соседи. Есть умное слово в лингвистике – флуктуация, то есть замена букв в нормативе. К примеру, у нас говорили «аны» вместо русского «они» или украинского «вони». Мыло именовалось «милом», хлорку звали «флоркой». Самое неожиданное – это «свальба» вместо свадьбы. Я долго считал, что это от необразованности, пока не обнаружил, что в Закарпатье традиционное «весілля» называют «свальбой». Бабушка пекла «фурабье», пе-

ченье ромбиками, тающее во рту. Звучит очень по-французски, но это греко-татарское хурабие, на которое не только в Курбан-Байрам, но и в любой другой день мог рассчитывать гость в доме наших братьев урумов.

Необходимое примечание для членов группы «Старый Мариуполь»: я не претендую на краеведческое исследование, возможные ошибки в моих текстах по невежеству, а не с умыслом. Моя цель скромна – мне хочется рассказать о жизни моей семьи и близких мне людей в той части города, которую я знал.

#### IV

Раннее воскресное утро, начало холодного марта.

– Женя, Женя! Вставай! Достань из падувала жужелку и посыпь до сарая. Я там вчера чуть не упала.

Женя – это мой дед Евгений Александрович Федоров. Несмотря на его шестьдесят лет, у него замечательная осанка, хорошей формы бритая до блеска голова. Он красив той грубой плебейской красотой, которая встречается только среди трудового люда. Женщины и до сих пор бросают на него заинтересованные взгляды. А прежде... Бабушка вспоминает какую-то Катюку, которая из-за него травилась кислотой и ей угрожала.

Во время нэпа у него была собственная мясная лавка на базаре, теперь он подрабатывает там грузчиком, таскает тяжелые туши. За это кроме небольших денег у нас каждый день есть кусок мяса. Дед встает около пяти и без завтрака отправляется на работу – там его не только накормят, но и нальют стопку-другую. Возвращается к часам трем, слегка, но только слегка навеселе. Бабушка ругается и ставит перед ним тарелку густого борща, заправленного толченым старым (!) салом с чесноком. После обеда спит до пяти. Потом встает, тщательно моется, надевает «кустюм» и отправляется «на преферанс» к доктору Кологномусу. Эта фамилия часто встречается в ссорах моих деда с бабушкой. Ее необычное звучание, как и все новые слова, вызывает у меня зрительные цветовые

ассоциации. Так, для меня надолго прилагательное «изящный» (бабушка говорила «изячный») связывалось с серым холстяным мешочком с ячневой крупой на верхней полке. Признаюсь, мне и теперь женщины в серебристо-сером, вне зависимости от комплекции, видятся изящными. То же самое с жужелкой. Для жителей старого Мариуполя это обычное слово. Так называются кусочки шлака, не сгоревшей породы. В снежные зимы жужелкой посыпали протоптанные во дворе дорожки к сараям и уборной.

Почти весь наш двор был вымощен ракушечником-дикарем, оставшимся от разваленной прадедовской конюшни. Небольшие окошки чистой земли весной прорастали одуванчиками, толстыми стеблями амбарной травы. Возле крана на влажной земле толпились, иногда взлетая, кусачие жуки. Их черные спинки выглядели, точно как жужелка из нашей печки. Совсем недавно я узнал, что жуки эти называются жужелицей. Видно, ассоциативное восприятие свойственно не только мне.

## V

...Шел солдат чумацким шляхом через всю страну, называемую тогда Малороссией. Было это в царствие императора Николая I, еще до начала Крымской войны. Отслужил он двадцатилетнюю рекрутчину и, кроме котомки с бельишком и новых сапог, выданных в «бессрочный отпуск» при увольнении, не было у него ничего. Зашел он в корчму при дороге с расчетом и поесть, и выпить, а может, и переночевать. Разговорился с корчмарем про долю свою горькую: иду, мол, незнамо куда, нет у меня ни дома, ни жены. Время было уже позднее, корчмарь с солдатом выпили не мало, а в аккурат, чтоб близость душевную друг к другу почувствовать. И говорит корчмарь: «Там у меня в амбаре девки заночевали, с барщины возвращались и притомились. Берем фонарь, идем тебе женку выбирать». Сказано – сделано. При свете фонаря много не разглядишь, но вроде выбрали девку ладную, в теле и на лицо не страшную. А звали ее Дарья. Уж не знаю, как моему прапрадеду по фамилии Дуевич (Джуевич) удалось выку-

пить мою прапрабабку из крепости, но семейное предание говорит, что жили они счастливо и положили начало одной моей линии – Литвиненко. Кем был Дувевич/Джуевич – поляком, литовцем или хорватом, я не знаю. Да и неважно это.

## VI

...В конце апреля, когда солнышко пригревало уже вовсю, бабушка приносила с базара соленые пузанки. Тот, кому повезло попробовать эту азовскую сельдь, уже никогда не забудет ее восхитительный, ни с чем не сравнимый нежный вкус с легким запахом арбузной корки. Рыбка эта небольшая, сантиметров пятнадцать-шестнадцать. Про голландский обычай есть целые половинки сельди, макая их в чесночный соус, мы не ведали, но именно так мы и ели: половинки пузанка отправлялись в рот, по губам и на подбородок лился солоноватый жирок. К пузанкам шли первые огурчики и отварная картошка.

Июнь приносил в наш двор главную мариупольскую рыбу – чебак! Никакого отношения к своим однофамильцам азовский лещ не имеет. Эта жирная, набитая икрой рыбина, весом до двух-трех килограмм никак не походит на ту высохшую сморщенную фигню, которую вы употребляете под пиво. Бабушка покупала, а чаще нам приносил ее брат-рыбак, для меня – дядя Яша, два-три десятка здоровых чебаков. Их солили специальной крупной «рыбацкой» солью, затем вялили, вывешивая на террасе. Солнце насквозь просвечивало их янтарные тела, на подстеленные тряпки капал жир. Но вот что удивительно – мухи на них не садились. Чем бабушка смазывала рыбины, не знаю, но помню: «Если муха села – рыбу можно выбрасывать». Уже через неделю вяленые чебаки подавались к воскресному обеду или если гости. Но гости (родичи и соседи) были почти каждый день. Особенно ценилась рыба с «загаром» – легкая вонь разлагающегося жира и вправду придавала специальное гастрономическое качество трапезе. Кусочки спрессованной красноватой мелкой икры выбирались из нарезанных ломтей для любителей пива.

Но для меня любимым блюдом был чебак, запеченный в духовке. На крупной терке бабушка натирала картофель, нарезала лук, хорошо перчила горьким и душистым перцем, затем эта начинка отправлялась в выпотрошенное брюхо. Потом суровой черной ниткой рыба зашивалась, делалось несколько неглубоких надрезов, чтоб пропеклось на всю глубину, – и в духовку! Не могу сказать, что с голодухи любая рыба покажется лакомством. На Черном море про рыбу больше в фольклоре – «шаланды, полные кефали», бички, ставрида, мифическая скумбрия. Правда, еще камбала-калкан...

У нас все эти бычки, тюлька считались сорной рыбой, годной только на котлеты. Отвратный запах, когда их жарят!

Настоящий улов – это метровая севрюга, осетрина (всегда в женском роде, никогда «осетр»). Сам был свидетелем: по нашей Торговой улице медленно ехал ЗИС, с его открытого заднего борта свисал хвост чудовищной белуги. Знаю, не верите! И, разумеется, вся эта «красная рыба» метала черную икру. Ее стоимость у рыбаков была просто смехотворной. Причем у нас любили не зернистую – суховатая, а паюсную. Литровую банку паюсной икры бабушка заливала сверху подсолнечным маслом «на зиму». Потому что рыбный сезон заканчивался к ноябрю, и кроме случайной сулы (азовский судак) или рыбца на стол уже ничего не попадало. Начинался мясной год. Об этом расскажу в другой раз.

## VII. Как я познал женщину

- Гуси, гуси!
- Га-га-га!
- Есть хотите?
- Да, да, да!
- Ну летите все сюда!

По другой стороне Торговой, там, где она круто изгибается своей булыжной мостовой к Слободке, за одноэтажными домиками был большой пустырь. Скучная городская трава про-

бивалась между разбросанными кирпичами, белыми, и красной «цеглой», кое-где торчала кладка разрушенных стен. Там собирались дети всех соседних дворов и проводили целые дни жаркого мариупольского лета. Мы не играли в футбол, у нас не было мячей, девочки не прыгали через скакалку – где ж там попрыгаешь? Естественно, все начиналось с «На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной...». Но долго играть в жмурки было скучно. На большом пустыре пока всех найдешь и застукаешь... надоест. Потом были эти самые «гуси». Но если собиралось пару десятков пацанов и девчонок в возрасте от пяти до двенадцати лет, можно было выстроиться в две шеренги напротив друг друга на расстоянии метров тридцать-сорок, и начиналась «Чью душу желаете?». Прорвать сцепленные руки и увести в свою шеренгу желаемую «душу» было делом нелегким. Старались бежать быстро, набирать скорость и с ходу врезаться в чужих. Девчонки, как правило, тыркались боком и легко попадали в плен.

Стоим мы так железной пацанской шеренгой и кто-то из старших на вопрос «чью душу?» кричит – «Маньку!». Манька из семьи эвакуированных. У нее растрепанные рыжие косички, зеленые глаза и такие же рыжие ресницы. Она на голову выше всех ребят, даже выше моего друга Сереги. Бежит эта Манька, высоко задирая коленки и по-мальчишески двигая локтями, прямиком на меня, вернее, на мою правую руку в сцепке с Серегиной. И уже в метре от нас начинает валиться и падает на наши руки всей грудью. Рука моя превращается в отдельный орган, вместо ожидаемого удара что-то теплое и мягкое прижимается к ней, я уже не слышу, что говорит Серега, зачем Манька становится рядом и берет меня за руку, – я в плену. Играть больше не хочется. Я ухожу домой.

Через неделю иду я с узелком, в который бабушка завернула еду для своего больного брата, дяди Яши. У него болезнь, которая называется темно-коричневым словом «рак», а Ксения, его жена, «ничего не умеет», поэтому бабушка подкармливает его и либо сама относит, либо меня посылает. Свернул я в проулок, а навстречу мне Маня. Ее босые ноги все в красных цыпках, на плечах мамина кофта, а косички заплетены по-новому, с зеленой

ленточкой. И вся она такая... сияющая. Подошла, стала почти впритык и заявила: «А у меня грудь стала твердой, хочешь потрогать?» – и не дожидаясь ответа, расстегнула кофту. Прямо перед моими глазами оказались две розовые штучки. Я осторожно одним пальцем коснулся соска и отдернул руку, словно меня долбануло током. Маня захохотала и, не оглядываясь, пошла дальше, а я на заплетающихся ногах потащился к дому дяди Яши. Сердце мое было разбито. Я понимал, что теперь нас связывает что-то, для чего нет названия в нашем языке. Конечно, все мы были после войны обучены всяким словам и на «е», и на «п», и на «х». Женщины во дворе обсуждали при нас свои женские дела, своих немощных после фронта мужей. Много нам дала в познании мира уборная во дворе. Через широкие щели в ее дощатых стенах нам открылось неведомое. И в доме-жаркими летними ночами, когда мы все спали на полу, сквозь сон я слышал возню и торопливый шепот моего дяди Вали и его новой жены.

Но все эти знания были стыдными и немножко грязными. С Маней я хотел другого: взять ее за руку и идти куда-нибудь очень далеко, за Слободку, за Фонтал. И чтоб никого вокруг, только я и Маня. И смотреть в ее глаза, и чтоб так навсегда...

Через неделю Маня со своей матерью уехала в свою Одессу. Вернулись домой. А я остался...

## VIII

Март 1919 года выдался в Мариуполе таким же переменчивым и капризным, как нынешний. Казачьи сотни генерала Краснова покинули город. Готовились к отступлению и части Мая-Маевского. Сводная бригада батьки Махно захватила Волноваху и продвигалась вдоль железной дороги к городу. В гарнизонной столовой господ офицеров обслуживали их жены, любовницы и городской люд, пристроившийся к относительно сытному месту. Работала там и светловолосая тонкая девочка Тоня Литвиненко, младшая сестра моей бабушки Марии. Старый Литвиненко до всех «этих безобразий» держал в своей конюшне во дворе собственного дома по улице Торговой пару мослатых коней и занимался извозом. Лошадей давно реквизировали, сбрую он поменял на пшено

у греков из дальнего Мангуша. Поэтому главными добытчиками в доме стали женщины.

Между тем махновская бригада продвинулась к пригородам Мариуполя, их бронепоезд «Спартак» стоял у перрона станции Сартана, что километрах в пятнадцати от городской черты. Три французских военных корабля на рейде начали разводиться пары, готовясь оставить своих союзников – части Добровольческой армии – без артиллерийской поддержки. А в офицерской столовой готовился заговор, скроенный по сценариям пошлых романов. Офицерские жены решили испечь нарядный торт, начинить его крысиной отравой и вручить самому Батьке, когда он будет выходить из своего штабного вагона. Потом смешаться с толпой и бежать из города. Бежать в уверенности, что их затея, как и у князя Юсупова, сработает отличным образом. Моя бедная Тоня подслушала жаркое обсуждение планов «убийства» и, движимая, вероятно, классово-солидарностью с популярным крестьянским вождем, решила предупредить его. Пятнадцать километров туда, пятнадцать назад для молодых ног не расстояние. К вечеру она добралась до дома и рассказала обо всем своим. Долгая ночь прошла в бесконечных упреках, слезах и криках: «Махновцев выбьют, вернутся белые и нас всех повесят!». Под утро, когда все уснули, Тоня пошла в сарай, достала бутылку с «флоркой» (раствор хлорной извести) и выпила сколько смогла. Смерть ее была нестерпимо мучительной.

А махновцев таки выбили, и в апреле город снова оказался в руках добровольцев.

